

Ефим Бершин

"Красные помидоры"

Я позвонил Чичибабину уже вечером, накануне отъезда в Харьков, 12 декабря. За окном как раз повалил какой-то грязный московский снег, и было видно, как он тут же, достигая земли, превращается в месиво, в черную жижу, налипая на подошвы пешеходов и шины автомобилей. Столичный декабрь, как это часто бывает в последние годы, был мрачен — ни зимы, ни осени, одна грязь. На улицах и в душе. По новостям как раз передали сообщение о том, что великий полководец Грачев повел армию в Чечню — умирать "с улыбкой на устах". Из дому, честно говоря, выходить не хотелось. Но голос Чичибабина, как всегда, прозвучал светло, хотя и сквозь свет этот была различима усталость.

— Все нормально, Ефим, мы вас ждем. И не тратьтесь на телефон. Утром увидимся и обо всем поговорим. Я вас встречу.

Но он не встретил.

На следующий день в харьковском театре был намечен поэтический вечер, в котором помимо меня должен был участвовать поэт Евгений Рейн, а вести этот вечер собрался Борис Чичибабин. Ближе к ночи мы сели в поезд, а уже утром прибыли в Харьков. Но я напрасно искал глазами на перроне Бориса Алексеевича. Его не было. Нас встречали другие люди. И сообщили, что ночью Чичибабину стало плохо и его увезли в реанимацию.

Предчувствия были самые скверные. Лиля (Лилия Семеновна Карась-Чичибабина) еще месяц назад, после грандиозного поэтического вечера "Литературной газеты" в московском киноконцертном зале "Октябрь", проговорила мне, что Борис Алексеевич постоянно говорит о своей усталости, о том, что жить больше не в силах, да и не хочется. Тогда это прозвучало даже странно, потому что выступление в "Октябре" увенчалось полным чичибабинским триумфом. Он буквально потряс зал своим стихотворением "Плач об утраченной родине", убийственным восклицанием: "Я с родины не уезжал — за что ж ее лишен?" Правда, чуть позже, когда все закончилось, когда выступающие сошли со сцены, а зрители поднялись со своих мест, он вдруг вернулся к микрофону и растерянно произнес на весь зал: "Лилия, ты где?" И столько было в этом неожиданном возгласе того, другого, потерянного и усталого Чичибабина, что стало ясно: никакие триумфы, залы, зрители, телевидение ему уже не нужны. Только Лилия нужна. За нее он цеплялся, как за соломинку.

Меня тошнит, что люди пахнут телом.
Ты вся — душа, вся в розовом и белом.
Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог.

Весь день мы с Рейном проболтали по Харькову, о чем-то беседовали с новыми знакомыми, откликнулись на чьи-то приглашения и все время ждали вестей из больницы. Вестей не было. Никаких хороших вестей не было. Кроме тех, что им как бы заранее были посланы из далекого уже 1967 года:

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспосли остуду и дремоту
на мое тело, длинное, как жердь.

Когда пришел вечер, зал театра был уже полон. За столиком на сцене стояли три стула — для меня, для Рейна и для Бориса Алексеевича. И этот "лишний" пустой стул между нами не просто сковывал — обжигал, мы побаивались на него смотреть. Читали по очереди и по очереди же бегали за кулисы узнавать — как он? И все было никак. Все было плохо. Я все время боялся забыть текст собственных стихов, потому что в голове вертелась чичибабинская:

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Странно, но такого вроде бы прозрачного, ясного поэта никогда толком не понимали. В общем, понятно, почему. Потому что наш мир разделяют совсем не взгляды на поэзию. Люди сами запирают себя в скорлупу конфликтов, где есть "наши" и "не наши", свои и чужие. Каждый, кто находится вне "клубных" пристрастий, — сразу же непонятен. Поначалу псевдодемократическая "тусовка" за него ухватилась: как же — диссидент, познавший еще сталинские лагеря, позже исключенный из Союза писателей, неизменно защищавший всех притесняемых. Потом охладели. Не потому ли, что он, истинно русский поэт, вдруг разразился стихами "Россия, будь!", "Плач по утраченной родине" или "Современными ямбами", где произнес свой окончательный приговор отношениям между

современным миром и поэзией: "...поэзия и буржуазность — принципиальные враги"? Вот и оказалось, что искренне переживающий (и не переживший!) трагедию происходящего поэт — всем чужой, "непонятный". Пришлось констатировать:

Нам век тяжел. Нам братья не друзья.
Мир обречен. Спасти его нельзя.

Самым страшным врагом для Чичибабина была схема. Он ненавидел жизнь по коммунистической схеме. А в начале девяностых с ужасом обнаружил, что на сцену явились новые догматики, строители схем и концептов — в жизни и в поэзии.

— Такие все и развалили! — ворчливо заявил он мне во время одной из встреч. — Ну нет у них любви! Конечно, гораздо легче все сломать. Но тот, кому дано лишь ломать, создавать не способен. Я сразу понял, что наши реформы — чистая конструкция, потому что опять все делается без любви, без Бога, без желания добра каждому человеку.

Такие же "концептуалисты" из "Огонька" в 1949 году прислали ответ на стихи, посланные его родителями в этот журнал. "По поручению товарища Суркова" консультантка редакции В. Попова оценивала чичибабинские стихи как плохие и беспомощные, советуя не писать вовсе. А под конец утешила: "Ваш

труд, кем бы вы ни были, нужен, полезен стране и народу, ведь не только писатели и поэты нужны родине". Конечно, родине еще нужны были и заключенные. Стихи-то, транзитом через родителей, были присланы из Вятлага. Кто бы сомневался, что его труд за колючей проволокой гораздо полезней родине, чем его "беспомощные" стихи. А ведь уже был написан один из его шедевров — "Красные помидоры", с их неповторимой звукописью и космическим отрешением от мира.

После поэтического вечера наступила черная гостиничная ночь — полубессонная, с навязчивыми, с головной болью, с бьющими в разрывающихся висках чичибабинскими строчками. Слово часть его агонии вырвалась за пределы больницы. Слово кто-то предлагал мне со-участвовать в его смерти, как он сам в последние годы со-участвовал в моей жизни.

И хмурое, тусклое утро добрых известий не принесло. Мы весь день бродили по городу, сживали за хлебосольными столами харьковчан, читали стихи и бегали к телефону. Борис Алексеевич обманул. Он нас не встретил. И надежд на встречу не оставалось. Я еще не понимал, что последующие годы будут сплошной встречей с ним, с его стихами. Для этого потребовалось совсем немного — не поддаваться массовым психозам, влиянию толпы, групп, "тусовочных" элит.

При этом условии стихи Чичибабина поджидали за каждым поворотом. Главное было — "не совпадать со множеством".

Я верен Богу одиноку
и, согнутый, как запятая,
пиляю всуперечь потоку,
со множеством не совпадая.

От честности до вечности — один шаг. От подлинности, от верности таланту. Через несколько лет я прошел, озираясь, по улице имени Бориса Чичибабина. Он встретил меня улицей, встретил памятником, встретил барельефом, встретил трехтомником. Все было такое свеженькое, новенькое, бодрое. И никак не напоминало вот этого:

Одним стихам век не потускнет,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

Всю следующую ночь смерть снимала с него усталость. И сняла, наконец. Исходил гарью и дымом харьковский вокзал, с которого мы возвращались в Москву. Российские войска подходили к Грозному. Липкий снег забивал окно вагона. Реформаторы обещали золотые горы. Нищие рылись в мусорных баках. Новая буржуазия с телеэкранов светилась страшными улыбками. Столы ломались. Вожди писали никому не нужные указы. А поэт вымолил, наконец, покой, еще раз бросив на прощание:

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Москва.

